

Глава II

Цепь

Все началось с нескольких огоньков. Когда поезд линии «*Таггерт*» подъезжал к Филадельфии, в темноте появилась редкая россыпь ослепительных огней. Они казались бессмысленными на пустынной равнине, но были слишком яркими, чтобы не иметь значения. Пассажиры лениво, без особого интереса смотрели на них.

Затем появился черный силуэт строения, едва угадывавшийся на фоне неба, потом возле путей выросло высокое здание; в окнах его не было света, и отражения освещенных вагонов скользили по стеклам.

Встречный товарный поезд закрыл собой окна, заливая вагон торопливой кляксой шума. В промежутках между вагонами пассажиры могли разглядеть силуэты далеких зданий, вырисовывавшихся на красноватом горизонте. Багровое зарево неровно пульсировало, словно бы дома дышали.

Когда поезд промчался, пассажиры увидели угловатые здания, окутанные кольцами пара. Лучи нескольких сильных прожекторов нарезали кольца дольками. Пар был пурпурным, как и небо.

Далее появилось нечто, похожее, скорее, не на здание, а на оболочку из стеклянных шахматных клеток, охватывавшую балки, краны и фермы единой ослепительной полосой огня.

Пассажиры не могли осознать всей сложности этого протянувшегося на мили города, работавшего, не обнаруживая признаков человеческого присутствия. Перед ними вырастали башни, похожие на скрученные небо-скребы, повисшие в воздухе мосты, в стенах виднелись раны, извергавшие огонь. Потом сквозь ночь поползла вереница багровых цилиндров; это горел раскаленный металл. Возле путей появилось конторское здание. Крупное неоновое панно на его крыше осветило внутренности пролетающих мимо вагонов. Оно гласило: *РИАРДЕН СТИЛ*.

Один из пассажиров, профессор экономики, обратился к своему спутнику: «Какое значение имеет отдельная личность в титанических коллективных достижениях нашего индустриального века?»

Другой, журналист, уже вносил в свой блокнот заметку для будущей статьи: «Хэнк Ритарден принадлежит к той разновидности людей, которые лепят

свое имя на все, к чему прикасаются. Уже из этой фразы читатель может составить представление о характере Хэнка Риардена».

Поезд все спешил во тьму, когда за длинным зданием рванулся к небу язык красного пламени. Пассажиры не обратили на вспышку никакого внимания; новую плавку, разлив раскаленного металла никак нельзя было отнести к числу событий, которые их учили замечать.

Это была первая плавка риарден-металла, первый заказ на него.

Прорыв жидкого металла на волю казался подобием наступившего вдруг утра для людей, стоявших у жерла печи. Хлынувший раскаленный добела поток металла светился чистым, солнечным огнем. Облака черного пара, подсвеченного багрянцем, клубились над печью. Неровными вспышками рассыпались фонтаны искр, казавшихся каплями крови, вытекающей из разорванной артерии. Воздух был растерзан в клочья, он обдавал ярым пламенем, красные пятна кружили и рвались вон из пространства, словно не желая оставаться внутри созданной человеком конструкции, словно стремясь разрушить колонны, балки, мосты кранов над головой. Однако металл не обнаруживал никакой агрессивности. Длинная белая полоса напоминала атлас и празднично блестяла. Она покорно текла из глиняного устья между двумя хрупкими берегами. А потом падала на двадцать футов вниз, в ковш, вмещавший две сотни тонн металла. Поток рассыпал звезды, выпрыгивавшие из его ровной глади и казавшиеся столь же ласковыми и невинными, как искры, брызжащие из детских бенгальских огней.

Только в самой близи становилось заметно, что белый атлас кипит. Время от времени из него вылетали брызги, падавшие на землю у желоба; жидкий металл, соприкасаясь с землей, остывал, вспыхивая огнем.

Две сотни тонн металла, более твердого, чем сталь, и ставшего жидким при температуре четыре тысячи градусов, могли разрушить любую стену здания, убить всех, кто работал возле потока. Однако каждый дюйм его пути, каждая молекула были покорны воле изобретателя.

Мечущийся под навесом красный свет выхватывал из темноты лицо человека, застывшего в дальнем углу. Прислонившись к колонне, он ждал. Яркая вспышка на мгновение бросила отблеск света в его глаза, цветом и видом напоминавшие голубой лед, потом на черное переплетение металла колонны и пепельные пряди его волос, потом на пояс спортивного плаща и карманы, в которых он держал руки. Высокий и стройный, он всегда превосходил ростом окружающих. Лицо его состояло из выступающих скул и нескольких резких морщин, оставленных, однако, не старостью. Так было всегда, и потому в молодости он казался старым, а сейчас, в сорок пять, молодым.

Насколько он помнил, ему всегда твердили, что лицо его уродливо — потому что было оно неподатливым и жестким. Оно ничего не выражало и теперь, когда он смотрел на льющийся металл. Это был Хэнк Риарден.

Металл поднимался к краю ковша и щедро переливался через край. Ослепительно-белые струйки быстро темнели, а еще через мгновение превращались в готовые отломиться черные металлические сосульки. Шлак застывал толстыми бурыми гребнями, похожими на земную кору. Корка толстела, в ней вскрывались редкие трещины, внутри все еще кипела расплавленная масса.

Высоко в воздухе проплыла кабина крана. Непринужденным движением руки крановщик двинул рычажок: подвешенные на цепи стальные крючья опустились вниз, подцепили ручки ковша, аккуратно, словно ведро с молоком, подняли две сотни тонн металла и понесли к ряду форм, ждавших, когда их наполнят.

Хэнк Риарден откинулся назад и закрыл глаза. Колонна за спиной его подрагивала в такт движениям крана. Работа окончена, подумал он.

Заметивший его рабочий одобрительно ухмыльнулся, как собрат и участник великого праздника, знавший, почему высокий белокурый человек должен был оказаться здесь в этот момент. Риарден улыбнулся в ответ и направился в свой кабинет, вновь превратившись в наделенного невыразительным лицом человека.

В тот вечер Хэнк Риарден поздно оставил свой кабинет. От завода до дома было несколько миль по безлюдной местности, однако ему хотелось пройти — без особых на то причин.

Он шел, опустив руку в карман, не выпуская браслет в виде цепочки, сделанный из риарден-металла. Десять лет его жизни ушли на то, чтобы сделать этот браслет. Десять лет, подумал он, долгий срок. Вдоль темной дороги выстроились деревья. Всякий раз, поглядев вверх, он замечал несколько листьев на фоне звездного неба; сухие и скрученные, они были готовы упасть на землю.

В окнах разбросанных по сельской местности домов светились огоньки, делавшие, как ни странно, дорогу еще более пустынной.

Риарден никогда не ощущал одиночества, кроме тех мгновений, когда бывал счастлив. Он оглядывался на багровое зарево, стоявшее над заводом. Он не думал о прошедших десяти годах. Сегодня от них осталось неясное послевкусие, которому он не мог дать имени или определения, но его чувства были умиротворенными и торжественными. Чувство это являло собой известную сумму, и ему не нужно было считать слагаемые, из которых она состояла. Это были ночи, проведенные возле пышущих жаром печей исследовательской лаборатории завода... ночи, проведенные в его домашнем кабинете над заполненными формулами листами бумаги, разлетающимися в ключья после очередной неудачи... дни, когда молодые ученые, составлявшие тот небольшой штаб, который он избрал себе в помощь, истощив собственную изобретательность, ожидали от него инструкций, как солдаты, готовые к безнадежной битве, еще способные сопротивляться, но уже притихшие, будто в воздухе висел произнесенный приговор: мистер Риарден, этого сделать нельзя... трапезы, прерванные и забытые после очередного озарения, после мысли, которую следовало немедленно проверить, испробовать, положить в основание растянувшихся на месяцы и месяцы работ, а потом отвергнуть после очередной неудачи... мгновения, отнятые от конференций, от контрактов, от обязанностей директора лучшего сталелитейного завода страны, оторванные едва ли не с виноватой улыбкой, как от тайной любви... и единственная мысль, растянувшаяся на десять лет, пронизывавшая все, что он делал, все, что он видел, мысль, возникавшая в его уме всякий раз, когда он смотрел на городские дома, на колею железной дороги, на свет в окнах далекого сельского дома, на нож в руках красавицы,

разрезавшей фрукты на банкете, мысль о сплаве металлов, который будет способен на то, что выходит за пределы возможностей стали, металле, который станет для стали тем, чем стала она сама для железа... мгновения самобичевания, когда он отвергал надежду или образец, не позволяя себе ощутить усталость, не давая себе времени на это, заставляя себя испытывать мучительную неудовлетворенность... продвижение вперед, не имевшее другого мотора, кроме уверенности в том, что это *можно* сделать... и, наконец, день, когда это *было* сделано, и результат его трудов получил название риарден-металла... Все это сейчас в белом огне плавилось и смешивалось в его душе, и сплав этот превращался в странное и спокойное ощущение, которое заставляло его улыбаться на этой темной загородной дороге и удивляться тому, что счастье может ранить.

Потом он понял, что прошлое представляется ему в виде разложенных перед ним дней, требующих просмотра. Он не хотел этого делать; он презирал воспоминания, видя в них бесцельное потворство собственным желаниям. И все же, решил он, сегодня прошлое раскрылось перед ним в честь того металлического изделия, что сейчас находится в его кармане. И он позволил себе погрузиться в воспоминания.

Риарден увидел себя на гребне скалы, вспомнил струйку пота, стекавшую с его виска на шею. Ему было тогда четырнадцать лет, шел первый день его работы на железном руднике в Миннесоте. Он пытался научиться преодолевать жгучую боль в груди и стоял, ругая себя, потому что заранее решил заставить себя не устать. Потом он вернул к работе, потому что боль, на его взгляд, не была достаточной причиной, чтобы прекращать дело. Он увидел еще один день, когда стоял возле окна своего кабинета и смотрел на тот же рудник, который приобрел в тот самый день. Ему было тридцать лет. И не важно, чем занимался он в прошедшие годы, как ничего не значила и давняя боль. Продвигаясь к намеченной цели, он работал на рудниках, сталелитейных заводах, металлургических комбинатах севера страны. Об этих своих работах он помнил лишь то, что окружавшие его люди, похоже, никогда не знали, что делать, в то время как он всегда имел четкое представление обо всем. Он вспомнил, что всегда удивлялся тому, как много рудников вокруг закрывается, впрочем, собирались закрыть и приобретенный им рудник. Он посмотрел на высившиеся вдаль скалы. Рабочие устанавливали над воротами в конце дороги новую вывеску: *Руда Риардена*.

Он увидел другой вечер и себя самого, сгорбившегося над столом в том самом кабинете.

Было поздно, и служащие уже отправились по домам, так что он имел полную возможность расслабиться без свидетелей. Он устал. Казалось, что он состязался с собственным телом, и все утомление предшествующих лет, в котором он отказывался признаться себе, разом обрушилось на него и придавило к креслу. Он не ощущал ничего, даже желания двигаться. Он не ощущал в себе сил ни на что — даже на страдание. Он выжег в себе все, что могло гореть; он, рассыпавший вокруг себя столько искр, затевая новые дела, теперь гадал, найдется ли кто-нибудь, способный заронить в него самого ту искру, в которой он так отчаянно нуждался именно в этот момент, когда он не ощущал в себе возможности шевельнуться. Он спросил себя:

кто привел его в движение и не позволил остановиться? И тогда он поднял голову. Неторопливо, величайшим в своей жизни усилием он заставил себя разогнуться, сесть прямо, опустив руку на стол, поддерживая тело другой дрожащей ладонью.

Больше он не задавал себе этого вопроса. Он увидел новый день, когда стоял на холме, разглядывая унылый пейзаж, мрачную пустошь, заставленную зданиями, прежде представлявшими собой сталелитейный завод. Предприятие разорилось и было закрыто. Он купил его предыдущим вечером. Задувал сильный ветер, серый свет просачивался сквозь облака. И в этой серости красно-бурые пятна ржавчины на стали огромных крапов казались подобием запекшейся крови, а ярко-зеленые травы пиршеством каннибалов тянулись над грудями битого стекла к пустым глазницам окон. У далеких ворот маячили черные силуэты людей. Это были безработные, обитавшие в гнилых лачугах, в которые превратился некогда процветавший городок.

Они стояли, безмолвно разглядывая сверкающую машину, которую он оставил у заводской проходной; они гадали, точно ли тот человек на холме является Хэнком Риарденом, о котором столько говорили вокруг, и верно ли, что завод будет снова открыт. «Исторический цикл производства стали в Пенсильвании катится под уклон, — настаивала газета, — и эксперты утверждают, что обращение Генри Риардена к производству стали не имеет перспектив. Скоро вы станете свидетелями сенсационного финала сенсационной деятельности Генри Риардена». Это было десять лет назад. И сегодняшней ветер, холодивший его лицо, ничем не отличался от ветра того дня. Он обернулся. Над заводом полыхало багровое зарево, такой же знак жизни, как восход солнца. На пути его были остановки, станции, которые миновал его экспресс. Он не мог сказать ничего определенного о тех годах, что разделяли их; годы слились воедино, в сплошное пятно.

Как бы то ни было, подумал он, все эти муки и напряжение оправдали себя, потому что позволили ему дожить до сего дня — дня первой промышленной плавки риарден-металла, первого заказа на этот сплав, которому суждено было стать рельсами для «*Таггерт Трансконтинентал*».

Он прикоснулся к лежавшему в кармане браслету, сделанному из первой партии металла. Браслет предназначался его жене. Коснувшись вещицы, он понял, что думает о некоей абстракции, именуемой женой, а не о женщине, на которой был женат.

Он почувствовал легкое недовольство тем, что распорядился сделать этот браслет, а затем укорил себя за подобное сожаление. Он покачал головой. Не время для старых сомнений. Он чувствовал, что способен простить все, что угодно и кому угодно, потому что счастье — источник благородства. Он не сомневался в том, что в эту ночь все вокруг желают ему добра. Ему хотелось встретить сейчас кого-нибудь, обратиться к первому незнакомцу, стать перед ним открытым и безоружным и сказать: «Посмотри на меня».

Люди, думал Риарден, в той же мере, как и я, изголодались по радости — по мгновению освобождения от серого гнета страдания, необъяснимого и напрасного. Он никогда не мог понять, почему люди должны быть несчастными.

Темная дорога незаметно поднялась на вершину холма. Он остановился и оглянулся. Красное зарево на западе превратилось в еле заметную узкую полосу. Над ней мелкими на таком расстоянии буквами на черном небе читался неоновый знак: *РИАРДЕН СТИЛ*. Он распрямылся, как перед судом. Он вспомнил другие знаки, горевшие когда-то в ночи: *Риарден Руда*, *Риарден Уголь*, *Риарден Известняк*. Он подумал о прожитых днях и о том, что неплохо бы зажечь над ними всеми неоновое табло со словами: *Риарден Жизнь*.

Резко повернувшись, он направился вперед. По мере того как дорога приближалась к дому, он отметил, что шаги его как бы сами собой замедляются, что настроение делается менее приподнятым. Он ощущал смутное нежелание возвращаться домой, но не хотел испытывать это чувство. Нет, подумал он, нет, не сегодня; в такой день они поймут. Однако он не знал, даже не задумывался над тем, что, собственно, должны они понять.

Приблизившись к дому, он заметил освещенные окна в гостиной. Дом стоял на пригорке, поднимавшемся перед Риарденом белой тушей; он казался голым, его в некоторой степени украшали лишь несколько колонн в псевдоколониальном стиле; и было видно, что наготу эту являть не стоило.

Риарден не был уверен в том, что жена заметила его появление в гостиной. Она сидела возле камина, сопровождая изящным движением руки плавное течение слов. Голос ее на мгновение стих, и Риарден подумал, что жена заметила его, однако, поскольку она не подняла глаз и речь потекла своим чередом, в этом оставались сомнения.

— ...дело в том, что культурному человеку скучны сомнительные чудеса чисто материальной изобретательности, — говорила она. — Он просто отказывается восхищаться водопроводными трубами.

Потом она повернула голову, посмотрела на Риардена, стоявшего на противоположной стороне длинной комнаты, и руки ее взмыли к потолку двумя лебедиными шеями.

— Дорогой мой, — бодрым тоном осведомилась она, — не рано ли ты явился домой? Неужели не нашлось слитка, который надо очистить, или формы, которую следует отполировать?

Все повернувшись к Риардену: его мать, его брат Филипп и Пол Ларкин, старинный друг.

— Простите, — проговорил он. — Я понимаю, что опоздал.

— Нечего извиняться, — сказала его мать. — Мог бы и позвонить.

Он поглядел на нее, пытаясь что-то припомнить.

— Ты обещал быть сегодня дома к обеду.

— Ах да, действительно обещал. Но сегодня на заводе была плавка... — он смолк, не понимая, что мешает ему произнести ту единственную вещь, ради которой шел домой, и только добавил: — просто я... забыл.

— Именно это и хочет сказать мама, — проговорил Филипп.

— Ах, пусть он придет в себя, он еще не очнулся, он по-прежнему на своем заводе, — веселым голосом произнесла жена.

— Снимай пальто, Генри.

Пол Ларкин смотрел на него преданными глазами больной собаки.

— Привет, Пол, — сказал Риарден, — когда ты приехал?

— О, я подскочил на нью-йоркском, пять тридцать пять, — благодарный за внимание, Ларкин расплылся в улыбке.

— У тебя неприятности?

— А у кого их нет в наши дни? — улыбка Ларкина сделалась отстраненной, это должно было подчеркнуть, что реплика его имела исключительно философские основания. — Нет, на сей раз никаких особенных неприятностей. Я просто подумал, что неплохо бы заскочить и повидаться с вами.

Жена Риардена рассмеялась.

— Ты разочаровал его, Пол, — она повернулась к Риардену. — Что это, комплекс неполноценности или мания величия, Генри? Неужели ты думаешь, что никто не способен повидаться с тобой ради самого процесса, или же ты полагаешь, что без твоей помощи совершенно невозможно обойтись?

Риарден хотел ответить сердитым отрицанием, однако жена улыбалась ему так, словно бы только что произвела шуточный выпад; он не хотел вступать в подобного рода двусмысленные разговоры, а потому промолчал. Застыв на месте, он разглядывал жену, пытаясь, наконец, понять то, чего до сих пор так и не удосужился сделать.

Все считали Лириан Риарден красавицей. Она была высокой и грациозной и выглядела особенно привлекательно в платьях с высокой талией, в стиле ампир, которые она привыкла носить. Ее благородный профиль будто сошел с камеи той же поры: чистые, гордые линии и блестящие светлокаштановые волны волос, причесанные с классической простотой, говорили о строгой царственной красоте. Однако когда она поворачивалась анфас, люди испытывали легкое разочарование.

Лицо ее нельзя было назвать прекрасным. Дефект крылся в глазах — блеклых, не серых и не карих, безжизненных и невыразительных. Риарден часто удивлялся тому, что при всей привычной внешней оживленности, радости в ее взоре не бывало никогда.

— Мы с тобой уже знакомы, дорогой, — ответила она на его испытующий взгляд, — хотя ты, кажется, в этом не уверен.

— Генри, ты хотя бы пообедал? — спросила его мать укоризненным и полным нетерпения тоном, словно его голод являлся для нее личным оскорблением.

— Да... нет... я не был голоден.

— Тогда я позвоню, чтобы...

— Не надо, мама, потом, это неважно.

— Вечно с тобой одни неприятности. — Она не смотрела на него и говорила, обращаясь в пространство: — Незачем даже пытаться что-нибудь сделать для тебя, ты этого не оценишь. Я так и не сумела научить тебя правильно питаться.

— Генри, ты слишком много работаешь, — объявил Филипп. — Это вредно для здоровья.

Риарден рассмеялся:

— А мне нравится.

— Ты просто утешаешь себя этими словами. Видишь ли, на самом деле это нечто вроде невроза. Если человек с головой уходит в работу, значит, он пытается бежать от чего-то. Тебе надо завести хобби.

— Перестань, Фил, ради Христа, не надо! — бросил Риарден и тут же пожалел о прозвучавшем в его голосе раздражении.

Филипп не мог похвастаться крепким здоровьем, хотя врачи не обнаруживали особых дефектов в его долговязом, хилом теле. Ему было тридцать восемь лет, однако хроническая усталость по временам заставляла людей подозревать, что он старше своего брата.

— Тебе нужно научиться как-нибудь развлекаться, — продолжил Филипп, — иначе ты станешь скучным и неинтересным. Точнее, узколобым. Пора выбраться из личной скорлупки и посмотреть на мир. Если ты не изменишь образ жизни, настоящая жизнь пройдет мимо тебя.

Сопrotивляясь гневу, Риарден напомнил себе, что такова манера его брата заботиться о нем. Несправедливо чувствовать обиду на близких: они пытаются проявить беспокойство — жаль только, что довольно неприятным образом.

— Я сегодня провел время достаточно интересно, Фил, — улыбнулся Риарден, заметив, однако, с некоторой досадой, что Филипп даже спрашивать не стал, как именно.

Ему хотелось, чтобы кто-то из них задал ему этот вопрос. Ему трудно было облечь свои ощущения в слова. Поток текущего металла еще горел в его памяти, наполнял собой все сознание, не оставлял места ни для чего другого.

— Ты вполне мог бы и извиниться, только я извинений от тебя уже и не жду. — Голос принадлежал его матери.

Риарден повернулся: она смотрела на него беззащитным взором, свидетельствующим об оскорбленном терпении бесправного существа.

— К нам на обед приезжала миссис Бичэм, — сказала она с укоризной.

— Кто?

— Миссис Бичэм. Моя подруга, миссис Бичэм.

— И что же?

— Я рассказывала тебе о ней, рассказывала много раз, только ты не запоминаешь ничего из того, что я тебе говорю. Миссис Бичэм хотела повидаться с тобой, но ей пришлось уехать сразу после обеда, она не могла ждать. Миссис Бичэм — очень занятая особа. Она хотела столько рассказать тебе о той великолепной работе, которой мы заняты в нашей приходской школе, и о занятиях по слесарному делу, и о том, какие изумительные дверные ручки самостоятельно делают трущобные мальчишки.

Ему пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы заставить себя ответить ровным тоном:

— Прости, если я разочаровал тебя, мама.

— Тебя это нисколько не расстраивает. Если бы ты захотел, то мог бы вовремя оказаться дома. Но разве ты когда-нибудь старался для кого-нибудь, кроме самого себя? Тебя не интересуем ни мы сами, ни все, что мы делаем. Ты полагаешь, что раз оплачиваешь наши счета, то этого уже довольно, не правда ли? Деньги! Это все, что тебя интересует. И ты даешь нам только деньги. А время свое ты когда-нибудь уделял нам?

«Если слова эти свидетельствуют о том, что ей не хватает общения со мной, это говорит о привязанности ко мне, — подумал он, — а если так, то я не вправе позволять себе противиться тяжелому и смутному чувству,

заставлявшему меня молчать, чтобы голосом не выдать то, что обычно называют досадой».

— Тебе все равно, — в ее голосе презрение смешивалось с просьбой. — Лилиан хотела обсудить с тобой очень важную проблему, но я сказала ей, что бесполезно рассчитывать на разговор с тобой.

— Ах, мама, это не важно! — сказала Лилиан. — Во всяком случае для Генри.

Риарден повернулся к жене. Он все еще стоял посреди комнаты, так и не сняв пальто, словно запутавшись в мире нереальном, никак не желавшем становиться реальностью.

— Это совсем не важно, — повторила Лилиан бодрим тоном; он не понимал, чего больше в ее голосе — извинения или хвастовства. — Речь идет не о бизнесе. Мое дело не представляет собой никакого коммерческого интереса.

— Что ты имеешь в виду?

— Прием, который я намереваюсь устроить.

— Прием?

— Не пугайся, он состоится не завтра вечером. Понимаю, ты очень занят, но я хочу созвать гостей через три месяца по очень важному и совершенно особенному поводу, поэтому обещай мне, что в назначенный вечер окажешься дома, а не где-нибудь в Миннесоте, Колорадо или Калифорнии!

Жена смотрела на него как-то по-особенному. Она говорила одновременно и слишком непринужденно, и излишне целеустремленно, невинность ее улыбки явно сочеталась с припрятанным в рукаве козырем.

— Ровно через три месяца? — переспросил он. — Но ты же знаешь, что какое-нибудь срочное дело всегда может увести меня из города.

— Ну, конечно, знаю! Но разве я не могу заранее договориться с тобой о встрече, как железнодорожный чин, хозяин автозавода или старьевщик... то есть сборщик металлолома? Они утверждают, что ты никогда не пропускаешь деловые встречи. Конечно, я могу предложить тебе выбрать самую удобную для тебя дату. — Она посмотрела на него снизу вверх исподлобья с ноткой кокетства и спросила, пожалуй, слишком непринужденно и чересчур осторожно: — Я имею в виду десятое декабря, но, быть может, ты предпочтешь девятое или одиннадцатое?

— Мне все равно.

Она аккуратно напомнила:

— Десятое декабря — годовщина нашей свадьбы, Генри.

Все теперь вглядывались в его лицо. Но если они рассчитывали заметить на нем признаки вины, то увидели лишь слабую недоуменную улыбку. Лилиан не заманит его в ловушку, подумал он, поскольку из нее так легко ускользнуть, отказавшись признавать какую-либо вину в своей забывчивости и не согласившись на вечеринку; она понимала, что единственным ее оружием является его чувство к ней. Она хотела, решил он, косвенным образом и не теряя самолюбия, испытать его чувства и признаться в собственных. Прием он не считал праздником, но Лилиан относилась к таким событиям иначе. С его точки зрения, подобное мероприятие ничего не значило; в ее глазах оно было высшим даром, который она могла принести и ему,

и их браку. Следовало уважать желания жены, пусть даже образ ее мыслей и не отвечает его нормам, пусть даже он не уверен, нужны ли ему от нее какие-либо знаки внимания, она вправе получить то, что хочет. И Риарден улыбнулся, широко и открыто, признавая ее победу.

— Хорошо, Лириан, — проговорил он негромко, — обещаю быть дома вечером десятого декабря.

— Спасибо тебе, дорогой. — В замкнутой улыбке ее таилось нечто загадочное, и Риарден удивился тому, что на мгновение ему показалось, будто ответ его разочаровал всех присутствующих.

«Если она доверяет мне, — думал он, — значит, ее чувство ко мне еще не умерло, и, следовательно, я не вправе обмануть эту веру». Он должен был произнести эти слова, ибо они, как линза, позволяли сфокусировать мысли, а других слов на сегодня у него просто не было.

— Прости меня за сегодняшнее опоздание, Лириан, просто сегодня у нас на заводе была первая плавка риарден-металла.

После общей паузы Филипп произнес:

— Вот здорово.

Остальные промолчали.

Риарден опустил руку в карман. И когда он вновь прикоснулся к браслету, знакомое ощущение мгновенно вытеснило из его головы все на свете; он вновь почувствовал то самое, что и там, перед струей расплавленного металла.

— Я принес тебе подарок.

Роняя металлическую цепочку на колени Лириан, он не знал, что держится нарочито прямо и что движение его руки повторяет жест крестоносца, вернувшегося с трофеями к любимой.

Лириан Риарден подобрала вещицу, растянула ее между двумя пальцами и поднесла к свету. Тяжелые, грубой работы звенья отливали странным иссиня-зеленым блеском.

— Что это? — спросила она.

— Первая вещь, сделанная из риарден-металла первой плавки.

— Ты хочешь сказать, — проговорила она, — что цена ей такая же, как и куску железнодорожного рельса?

Риарден недоуменно посмотрел на нее.

Лириан позвенела браслетом, блеснувшим на свету.

— А знаешь, Генри, чудесная мысль! Чудесная и оригинальная! Я стану сенсацией в Нью-Йорке, когда начну носить украшения, сделанные из того же материала, что балки мостов, моторы автомобилей, кухонные печи, пишущие машинки и — как это ты сам говорил вчера, дорогой, — суповые кастрюльки?

— Боже, Генри, да ты просто зазнайка! — проговорил Филипп.

Лириан рассмеялась:

— Он сентиментален. Как и всякий мужчина. Но, дорогой, я ценю твой подарок. Не сам дар, но намерение.

— Если ты спросишь меня, то я скажу, что намерение было самое эгоистичное, — сказала мать Риардена. — Другой мужчина, собравшись сделать жене подарок, принес бы браслет с бриллиантами, который доставил бы

удовольствие и ей, а не только ему самому. Однако Генри считает, что, раз уж он сделал новую разновидность жести, все вокруг должны ценить ее выше алмазов, просто потому что это он сделал ее. Таким он был с пяти лет — более самонадеянного ребенка я не встречала и, конечно, могла только предполагать, что из него вырастет самый эгоистичный мужчина на свете.

— Нет, это очень мило, — проговорила Лилиан, — просто очаровательно.

Она уронила браслет на стол, встала, опустила ладони на плечи Риардена и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в щеку:

— Спасибо, дорогой.

Он не шевельнулся, не стал наклонять голову навстречу ласке. Чуть помедлив, он снял пальто и сел возле огня, в стороне от остальных. Риарден не ощущал ничего, кроме колоссальной усталости.

Он не прислушивался к их разговору, догадываясь, что там, вдалеке, Лилиан спорит с его матерью, защищая мужа.

— Я его лучше знаю, — возражала мать, — ни человек, ни зверь, ни растение не интересуют Хэнка Риардена, если только они каким-то образом не связаны с ним самим и его работой. Он способен думать только о ней. Я изо всех сил пыталась научить его некоторому смирению, пыталась всю свою жизнь, но мне не удалось этого сделать.

Риарден предлагал матери неограниченные средства, позволявшие жить где угодно и как заблагорассудится, и не понимал причин, по которым она настояла на совместном проживании с ним. Риарден предполагал, что его успех имел для нее какое-то значение и таким образом как-то связывал их, другой связи он не признавал; и если его мать захотела жить в доме преуспевающего сына, он не желал отказывать ей в этом праве.

— Мама, незачем делать из Генри святого, — проговорил Филипп. — Он не предназначен для этой роли.

— Ах, Филипп, ты ошибаешься! — отозвалась Лилиан. — Ты невероятно ошибаешься! У Генри есть все задатки святого. В этом-то и беда.

«Чего им нужно от меня? — думал Риарден. — Чего они добиваются?» Он никогда и ничего не просил ни у кого из них; это они стремились владеть им, это они предъявляли ему постоянные претензии, причем претензии эти имели облик привязанности, которую, впрочем, ему было труднее переносить, чем любую разновидность ненависти. Риарден презирал беспричинное сочувствие в такой же мере, в какой презирал незаслуженное богатство. По какой-то неведомой причине эти люди взялись любить его, не желая при этом знать, за что ему хотелось быть любимым. Интересно было бы знать, какого рода реакции с его стороны намеревались они добиться подобным путем, если, конечно, им вообще нужна была его реакция.

«А ведь она нужна им, — подумал Риарден, — даже любопытна; зачем иначе эти постоянные жалобы, непрекращающиеся обвинения в безразличии? Откуда эта хроническая подозрительность, словно им *хочется* почувствовать себя задетыми?» У него никогда не было желания сделать кому-нибудь из них больно, однако он всегда ощущал в них эту бязливую укоризну; их, похоже, ранило каждое его слово, и дело было не в его словах

или действиях; получалось... да, получалось так, что их ранил уже сам факт его существования. «Не надо придумывать всякую чушь», — резко осадил он себя, пытаясь применить к решению этой загадки самые строгие критерии своего беспощадного чувства справедливости. Не поняв своих родственников, он не имел права судить их; а понять их он не мог.

Нравятся ли они ему? Нет, подумал Риарден; их надо *полюбить*, что не совсем одно и то же. Риарден хотел этого во имя некоего несформулированного потенциала, который когда-то пытался обнаружить в каждом человеческом существе. Теперь он ничего не ощущал по отношению к этим людям, ничего, кроме безжалостного нуля, безразличия... он даже не сожалел о потере. Нуждался ли он в том, чтобы какой-нибудь человек вошел как неотъемлемая часть в его собственную жизнь? Ощущал ли нехватку желанного чувства? Нет, подумал он. Тосковал ли по нему? Да, решил он, в годы юности; но не теперь.

Утомление нарастало. Риарден понял, что причиной его была скука.

Однако ее следовало скрывать, он обязан проявлять любезность по отношению к этим людям, подумал сидевший в неудобной позе Риарден, преодолевая желание уснуть, уже превращавшееся в физическую боль.

Глаза его уже закрывались, когда он ощутил на своей руке прикосновение двух мягких липких пальцев. Пол Ларкин придвинул к нему свое кресло и уже склонялся для приватного разговора:

— Хэнк, мне безразлично, что говорят на эту тему в отрасли, но риарден-металл — великая вещь, великая, и она принесет тебе состояние, как и все, к чему ты прикасаешься.

— Да, — согласился Риарден, — принесет.

— Просто... просто я надеюсь, что ты не попадешь с ним в беду.

— Какую беду?

— Ах, ну не знаю... просто сейчас... есть люди, которые... как бы это сказать... все может случиться...

— Что может случиться?

Ларкин сидел, сгорбившись, молящие, ласковые глаза смотрели снизу вверх. Его короткое полное тело всегда казалось беззащитным и незавершенным, он словно был нуждался в раковине, в которую можно было нырнуть при первом прикосновении неизвестной опасности. Тоскливые глаза, потерянная, беспомощная, просительная улыбка служили заменой этой раковине. Улыбка обезоруживала, она годилась разве что мальчишке, отдающемуся на милость непостижимой вселенной. Ларкину было пятьдесят три года.

— У тебя нет хорошей рекламы, Хэнк, — сказал он, — пресса всегда не жаловала тебя.

— Ну и что?

— Ты не популярен, Хэнк.

— Ни разу не слышал, чтобы мои заказчики были чем-то недовольны.

— Я не о том. Тебе нужно нанять хорошего пиарщика, чтобы он продавал тебя публике.

— Зачем? Я торгую сталью.

— Но ты же не хочешь, чтобы публика была настроена против тебя. Общественное мнение, знаешь ли, вещь ценная.

— Не думаю, чтобы общество было настроено против меня. И еще я считаю, что любят меня или нет, не имеет никакого значения.

— Газеты настроены против тебя.

— У них есть свободное время. У меня его нет.

— Мне это не нравится, Хэнк. Это нехорошо.

— Что?

— То, что они пишут о тебе.

— И что же они пишут обо мне?

— Ну ты сам это знаешь. Что ты упрям. Что ты безжалостен. Что ты никому не позволяешь разделить с тобой участие в управлении своими заводами. Что единственная твоя цель — делать сталь и вместе с ней деньги.

— Но это и есть моя единственная цель.

— Ты не должен этого говорить.

— Почему же? И что должен я говорить?

— Ну не знаю... но твои заводы...

— Они ведь мои, не правда ли?

— Да, но... но ты не должен слишком громко напоминать об этом людям... Ты знаешь, как сейчас с этим... Они считают твою позицию антиобщественной.

— Их мнение мне абсолютно безразлично.

Пол Ларкин вздохнул.

— В чем дело, Пол? На что ты намекаешь?

— Ни на что... ни на что, в частности. Только в наше время никто не может сказать заранее, что может случиться... Приходится быть осторожным...

Риарден усмехнулся:

— Не пытаешься ли ты *позаботиться* обо мне, а?

— Просто я твой друг, Хэнк. Я тебе друг. И ты знаешь, как я восхищаюсь тобой.

Пол Ларкин всегда был неудачником. Все, что он начинал, складывалось посредственным образом, не приводя ни к полному провалу, ни к успешному завершению. Он был бизнесменом, однако никак не мог надолго закрепится в какой-нибудь отрасли. В настоящее время он пытался удержаться на плаву вместе со скромным заводом, производившим оборудование для рудников.

Пребывая в трепетном восхищении перед Риарденом, человек этот лип к нему многие годы. Он приходил за советом, иногда — не часто — просил займы; суммы были умеренными, и он всегда возвращал их, хотя и не всегда в срок. Похоже, что на подобную дружбу его подвигала присущая анемичной персоне потребность впитывать жизненные силы из непосредственного контакта с человеком, ими переполненного.

Наблюдая за деятельностью Ларкина, Риарден невольно вспоминал муравья, изнемогающего под тяжестью хвоинки. То, что трудно ему, не требует от меня никакого усилия, думал Риарден, наделяя друга советом, а также — при возможности — тактичным и терпеливым вниманием.

— Я твой друг, Хэнк.

Риарден вопросительно посмотрел на гостя.

Ларкин отвернулся, как бы что-то обдумывая, и после некоторой паузы осторожно спросил:

— А как дела у твоего человека в Вашингтоне?

— Нормально, надеюсь.

— В этом следует быть уверенным. Это важно. — Он посмотрел на Риардена и повторил с подчеркнутой настойчивостью, как бы исполняя трудный моральный долг: — Хэнк, это очень важно.

— Полагаю, что так.

— На самом деле, я приехал сюда, чтобы сказать тебе именно это.

— По какой-то конкретной причине?

Подумав, Ларкин решил, что выполнил свой долг:

— Нет.

Тема эта была неприятна Риардену. Он понимал, что следует иметь человека, который будет защищать его интересы в законодательных органах; все предприниматели располагали подобными людьми. Однако сам он никогда не уделял особого внимания этой стороне своего дела и никогда не мог убедить себя в том, что она действительно необходима.

Всякий раз, когда он пытался задуматься над тем, что некто за деньги должен лоббировать интересы компании в верхах, его останавливало некое отвращение, состоявшее из смеси скуки и брезгливости.

— К сожалению, Пол, — принялся он рассуждать вслух, — к этому делу приходится привлекать совершенно никчемных людей.

Отвернувшись в сторону, Ларкин произнес:

— Такова жизнь.

— И черт меня побери, если я понимаю причину. Ты способен назвать ее мне? *Что* в мире идет не так?

Ларкин скорбно пожал плечами:

— Зачем задавать бесполезные вопросы? Насколько глубок океан? Как высоко небо? И кто такой Джон Голт?

Риарден распрямылся в кресле.

— Нет, — произнес он отрывисто. — Нет. Нельзя позволять себе подобные настроения.

Риарден встал. Утомление оставило его, едва речь зашла о деле. Он ощутил бунтарский порыв, потребность вернуть и заново утвердить свой собственный взгляд на бытие, смысл которого он так остро ощущал сегодня по дороге домой и которому ныне угрожало что-то безымянное.

Чувствуя возвращение энергии, Риарден зашагал по комнате. Он посмотрел на своих родных: бестолковые и несчастные дети, все, в том числе и его матушка; глупо обижаться на их недомыслие; оно является следствием беспомощности, а не злого умысла. И именно ему следует научиться понимать их — он может передать им свою радостную и беспредельную силу, которую они не в состоянии ощутить.

Он посмотрел на противоположную сторону комнаты. Его мать увлеченно разговаривала о чем-то с Филиппом; однако он отметил, что увлеченность эту нельзя было назвать подлинной, оба они были взволнованы. Филипп сидел в низком кресле — живот выступил вперед, спина сгорблена, — словно бы наказывая всех окружающих жалким неудобством своей позы.

— Что с тобой случилось, Фил? — спросил Риарден, подходя к брату. — Выглядишь усталым.

— Тяжелый выдался день, — ответил Филипп угрюмо.

— Не один ты на свете работаешь, — вступила в разговор мать. — У других тоже есть свои проблемы, пусть и не такие, как у тебя: транс-, суперконтинентальные и на миллион долларов.

— Ну это хорошо. Я всегда полагал, что Фил должен найти себе интересное дело.

— Хорошо? Ты хочешь сказать, что тебе приятно видеть твоего брата надрывающимся на работе до потери пульса? Тебе это приятно, не так ли? Я всегда так считала.

— Ну что ты, мама. Я рад помочь.

— Тебе не придется помогать. Ты не обязан сочувствовать кому-нибудь из нас.

Риарден не знал, чем занимается или хочет заниматься его брат. Он посылал Филиппа в колледж, однако тот так и не сумел остановиться на какой-либо конкретной сфере деятельности. С точки зрения Риардена, если мужчина не стремится к прибыльной работе, то с ним что-то не так, однако он не чувствовал себя вправе внушать свои принципы Филиппу; он мог содержать своего брата, не замечая расходов. Пусть себе живет, считал Риарден, пусть получит шанс начать собственную карьеру, не борясь за существование.

— И чем же ты сегодня занимался, Фил? — спросил Риарден терпеливо.

— Это не заинтересует тебя.

— Я хочу знать и поэтому спрашиваю.

— Мне пришлось встретиться с двадцатью людьми по всему городу, от Реддинга до Уилмингтона.

— И зачем они тебе понадобились?

— Я пытаюсь собрать деньги для *«Друзей Глобального Прогресса»*.

Риарден никогда не мог упомянуть те многочисленные организации, с которыми связывался Филипп, или получить ясное представление об их деятельности. В последние несколько месяцев Филипп время от времени упоминал о неких *«Друзьях Прогресса»*. Братство это как будто бы занималось бесплатными лекциями по психологии, народной музыке и сельскохозяйственной кооперации. Риарден питал пренебрежение к подобного рода группам и не видел причин для более внимательного изучения их природы.

Он молчал. И Филипп добавил без приглашения с его стороны:

— Нам нужно собрать десять тысяч долларов для осуществления жизненно важной программы. Собирать деньги — это муки мученические. В людях не осталось даже искорки общественного самосознания. И когда я вспоминаю тех раздувшихся денежных мешков, которых видел сегодня... на прихоти свои они тратят куда больше, однако я не сумел выжать ни из кого и сотни баксов, хотя больше не просил. У них не осталось чувства морали и долга... Чему ты смеешься?

Риарден стоял перед ним, ухмыляясь.

«Детская наивность, — подумал Риарден, — беспомощная и грубая работа: сразу и оскорбление, и намек. Филиппа нетрудно было бы раздавить,

ответив на оскорбление оскорблением, которое будет смертоносным уже потому, что оно справедливо, — но произнести его невозможно. Бедный дуралей, конечно, понимает, что отдался на мою милость, понимает, что может получить суровый отпор, поэтому мне незачем оскорблять его, но, поступив иначе, я дам лучший ответ, который он не сумеет не оценить. В какой же нищете живет на самом деле Филипп, что она настолько исковеркала его?»

И тогда Риарден вдруг подумал, что может разом разрушить хроническое неудовольствие Филиппа, одарить его неожиданной радостью, исполнением безнадельного желания. Он думал: «Какая мне разница, чего именно он хочет? Желание принадлежит ему, как риарден-металл мне... и оно должно означать для него то же, что мой металл для меня... пусть хоть раз побудет счастливым, это чему — нибудь да научит его... разве не я говорил, что счастье делает благородным?.. Сегодня у меня праздник, пусть получит в нем свою долю — такую весомую для него и такую малую для меня».

— Филипп, — проговорил он с улыбкой, — завтра утром зайди ко мне в кабинет, к мисс Айвс. Она передаст тебе чек на десять тысяч долларов.

Филипп смотрел на него ничего не выражающими глазами, в которых не было ни потрясения, ни удовольствия, только одна остекленевшая пустота.

— О, — проговорил Филипп, а потом добавил: — Мы весьма ценим твой жест.

В голосе его не было никакого чувства, даже простейшей жадности.

Риарден не мог разобраться в собственных переживаниях: внутри него словно бы обрушивалась какая-то свинцовая пустота, он ощущал и этот вес, и этот вакуум. Он понимал, что испытывает разочарование, однако не знал, почему оно сделалось настолько серым и уродливым.

— Очень мило с твоей стороны, Генри, — сухо поблагодарил Филипп. — Я удивлен. Вот уж не ожидал от тебя.

— Разве ты ничего не понял, Фил? — произнесла Лилиан особенно чистым и певучим голосом. — Сегодня у Генри прошла плавка его металла.

Она повернулась к Риардену:

— Объявим этот день национальным праздником, дорогой?

— Ты — хороший человек, Генри, — проговорила его мать и добавила: — Однако бываешь им не слишком часто.

Риарден стоял и смотрел на Филиппа, словно бы выжидая.

Филипп посмотрел в сторону, а потом взглянул Риардену прямо в глаза, отвечая на вызов.

— Тебе действительно интересно помогать неимущим? — спросил Филипп, и Риарден, не веря своим ушам, услышал в его голосе укоризну.

— Нет, Фил, они мне совершенно безразличны. Я просто хотел порадовать тебя.

— Но деньги предназначаются не мне. Я собираю их не по личным мотивам. В этом деле я не преследую ничего корыстного. — В холодном голосе его пела нотка горделивой добродетели.

Риарден отвернулся. Он ощутил внезапное отвращение: не потому что слова брата были полны ханжества, но потому, что тот говорил правду и сказал именно то, что думал.

— Кстати, Генри, — добавил Филипп, — можно я попрошу, чтобы мисс Айвз выдала мне эту сумму наличными?

Озадаченный Риарден повернулся к нему.

— Видишь ли, *«Друзья Глобального Прогресса»* — группа весьма прогрессивная, и они всегда видели в тебе самого черного ретрограда во всей стране; их смутит твое имя в наших подписных листах, потому что тогда нас могут обвинить, что мы находимся на содержании Хэнка Риардена.

Ему захотелось дать Филиппу пощечину. Однако почти непереносимое презрение заставило вместо этого зажмурить глаза.

— Хорошо, — сказал он негромко, — ты получишь деньги наличными.

Отойдя в дальний угол комнаты, к окну, он застыл возле него, вглядываясь в далекое зарево над заводом.

Ларкин простонал, обращаясь к нему:

— Черт побери, Хэнк, зачем ты даешь ему эти деньги?

Холодный и веселый голос Лилиан пропел возле него:

— Ты ошибаешься, Пол, как же ты ошибаешься! Что бы случилось с тщеславием Генри, если бы нас не было рядом, если бы вдруг оказалось, что некому швырнуть подаяние? Что стало бы с его силой, если бы рядом не оказалось слабых, над которыми можно властвовать? И что произойдет с ним самим, если не окажется рядом нас, зависящих от него? Это вполне справедливо, я не осуждаю его, такова человеческая природа.

Подобрав браслет, она подняла его — металл блеснул в свете люстры.

— Цепь, — проговорила она. — Как точно, не правда ли? Это и есть та самая цепь, которой он привязывает всех нас к себе.